

ИППОЛИТ ХАРЛАМОВ

**МИДГАРД
1ЛГ-606-7М**

Invocatio

Муза священной истории, — ты, которая нам являешься первой из муз и выбираешь для своего появления места самые неожиданные и самые закономерные (трамвайную остановку, нестройный ряд ларьков у метро, бетонное крыльцо поликлиники, куда нас, ревуших белугой, силком затаскивали сделать прививку), — если ты помогала древним географам описать земли одноглазых великанов и грифонов, охраняющих золото, то и мне помоги рассказать о ландшафтах, где я тебя встретил.

Там оттепель похожа на паводок, там выплывают из фиолетовых сумерек, как очертания речных пароходов, прямоугольники зданий — и в окне, разливающим сладковатый чайно-лимонный свет, выведен акварелью силуэт тропического растения (из тех, чьи названия — монстера, драцена, сансевиерия — только их хозяйки и помнят, как своеобразный перечень кораблей; прочие ограничиваются универсальным “цветок”, хотя цветущими их никто никогда не видел).

Там всё струится ручьями и зыблется; там нехолодный снег в дырочку — от капель, неслышно и непрестанно падающих с веток

кустарников и древесных ветвей; там прохожие и предметы приведены к своей идеальной форме — размыты до мягких пятен, напоминающих сразу обо всём, что дорого, и ни о чём в отдельности.

Муза-ольха, наяда-черёмуха, завесившая лицо белёсой вуалью, не оставляющая меня едва ли не с детсадовских лет: давай вместе скажем о спальнях кварталах с анфиладами промозглых дворов, где месяц слякоть автомобильные шины, где алкаши занюхивают сивуху водянистым воздухом и пенсионеры выгуливают на длинных поводках флегматичных барбосов. Я зациклен на этих образах мира не только потому, что таков мой единственный способ понять себя самого. Ещё потому, что это единственный способ восстановить хоть какую-то справедливость в отношении материи, из которой я вышел и внутри которой продолжаю двигаться. Самое оболганное время — всегда *вчера*, самое непонятое — всегда *сейчас*.

Уже много лет я хочу написать что-то вроде путеводителя по изнанке панельного микрорайона: прежде всего моего собственного, но и любого, потому что у всех панельных микрорайонов, как у сфагновых болот, сходная морфология, и экосистемы в них формируются узнаваемые, характерные. Несколько раз я пробовал подступиться к этой теме, но у меня мало что

получалось — и я поначалу сам не мог понять, почему, а сейчас осознаю, что визионер, живущий во мне, не давал высказаться натуралисту — и не желал признавать, что в наблюдениях натуралиста не меньше магии, чем в его откровениях. Кроме того (и в этом тоже не стыдно признаться), я всё же был слишком юн и, как это свойственно всякой юности, даже думать не желал о том, чтобы соразмерить своё личное видение с вещами общими, лежащими в сфере того, что одни называют “коллективным бессознательным”, а другие — мифом. Мне важно было рассказывать о том, что значат *для меня* чёрные заплаканные деревья у подъезда пятиэтажки, но присмотреться к тому, что они значат *для человека*, я не хотел.

В конце концов, нужно было ещё и понять этого самого человека — и полюбить его (не влюбиться зачарованной любовью подвижника, но просто начать любить в меру сил). И я не думаю, что многого достиг. Но хотел бы попробовать снова обойти по периметру свою малую родину: отрез плавучих грунтов, всеми сторонами граничащий с затуманенной бездной.

Субстрат

Есть ясный, не в меру прагматичный рассудок эпохи, который на местности отражается в планировках и архитектурных решениях, — и есть густая, самовластная кровь земли, которая исподволь пропитывает стройматериалы и полуще любой монтажной пены заполняет пустоты.

Она сочится из самого ландшафта — “из природы”, если следовать терминологии обывателя, — но пахнет историей; она выносит на поверхность частицы всего, что было в ней когда-либо растворено, вмешано в почву, смыто в суглинки тальными водами. Она вливается в нас, притворяясь частью стихии: с дождём, с каплей, с комариным воздухом раннего лета; она частенько диктует нам то невнятное и всё-таки фундаментальное, что мы бессмысленно называем “настроением”; она воцаряется на рассвете и в сумерках (и тогда многоэтажки кажутся хуторами, затерянными среди фантомных лесов); она едва ли не с удовольствием делает вид, что уступает, когда человек пытается насадить на её месте куцую память нескольких поколений; она скрывается за пеленой мнимого забвения — и оттуда, неузнанная, правит бал.

В местах, которые принято называть историческими центрами городов, всё немного иначе. Внутри невидимых стен акрополя — вернее, померия, — уязвимый общинный уклад худо-бедно защищён от могучих земных излучений. Там всё обустроено согласно строгим договорам, освящено ритуалами и скреплено — чаще всего — довольно кровавыми жертвами; всё обставлено так, чтобы человек помнил и видел строго *от сих до сих* и не засматривался в зияющие бездны. Спальные же районы — пространства, лежащие за пределами города в изначальном смысле этого слова; это места пограничные (лиминальные, как сказал бы я в научной статье): уже не поле, ещё не Рим. Здесь пристало находиться некрополям, казармам, храмам войны — и бесчисленным порталам в подсознание мира.

Но даже на Невский проспект, где всё природное (и памятное) тщательно отфильтровано, разлито по фигурным сосудам и намертво запечатано, нет-нет а приходит такой октябрьский вечер, полный чернильной воды и речных огоньков, что имперские здания размякают и раскисают в нём, как изорванные картонки. Их уносит в Маркизову лужу. Рыбак, вытаскивающий на берег свою шитую еловым корнем лодчонку, провожает их плотвичьим взглядом из-под белых ресниц.

Что касается моего района, то под ним залегают пласты зыбучие, трухлявые, вязкие: чёрные брёвна, оставшиеся от финских курных изб, изгнившие гати, оплывшие шведские укрепления, погребения в колодах и в ямах, неолит, которого никто не исследовал. Они мало кому интересны. Краеведу милее марципановый дореволюционный уют.

Пятилетним я собирал на руинах господских дач осколки цветных стекляшек от витражей и фрагменты лепнины — кажется, среди них даже была относительно целая мордаха пухлого амурчика. Флюиды, исходящие от этого недолговечного слоя — трогательного в своей укульной хрупкости, но и нагоняющего жуть, как всякая кукла, — можно различить июньским вечером под тяжёлыми соцветиями сирени; они похожи на фей, какими их изображали английские художники, — золотокрылых, с капризными личиками, — они влюбляют в себя, но всё же я посмею сказать, что характер моей панельной вотчины определён вовсе не ими, а чёрными брёвнами и изгнившими гатями, торфяной чухонской водицей с белёсыми разводами славянских, германских и балтских примесей, стоянками безвестных первобытных племён.

А под этой памятью — полурастворившейся в веществе, но всё-таки исторической, — шевелит щупальцами другая: титаническая память материка.

Из углов комнаты растекался пещерный сумрак. Играла музыка с тягучими риффами — что-то из ранних альбомов Anathema или Tiamat, — зазывая предгрозовую ветер. Высоковольтные вышки маршировали по пустырю за окном — макушками в тучах, по щиколотку в сныти и лопухах. У всех нас было налито; это мог быть белый дешёвый вермут, вполне удачная пародия на “Мартини”, или крымское креплёное вино, тоже белое — в любом случае то, что мы пили, походило по цвету на ромашковый настой и отдавало аптекой. У окна курила какая-то девушка (когда она двигала рукой, колыхалась под чёрной футболкой тяжёлая грудь, порождённая теми же тучами и травяными пустынями, и лицо в полумраке казалось лицом древней статуи, только что обнаруженной, ещё не расчищенной как следует щёткой и кистью). В кресле, свесив волосы на лицо, сидел кто-то из моих тогдашних друзей — не помню, кто именно, но воображению хочется, чтобы это был парень, однажды спасший мне жизнь в переделке, в которую сам же меня и втянул (через пару лет после того случая он сошёл с ума от пьянки и умер, не приходя в ясное сознание, в захолустной деревне своих родителей, где-то среди псковских болот). Мы вели довольно бессвязную, но всё же важную — в тот момент и в том месте — беседу.

Увлечённые ею, мы не заметили, как из вентиляционной шахты, сорвав давно нечищенную решётку, в квартиру вползли плети вьюнков, мышинового горошка и девичьего винограда. Только годы спустя я припомнил, как через облупившийся подоконник перевалил медленный шквал, фиолетовый и зелёный. Нас затянуло в воронку смерча, — в драконью гортань, где пахло электричеством, солью и мелом, корнями всех растений, всеми цветами земли. Челюсти скальных пород разжевали нас до состояния бесформенных комьев; силурийское море выплюнуло нас на сушу.

На самом деле, эти вещи — отдающее аптекой вино в полутёмной квартире, пейзаж за окном, натиск разбушевавшейся всевидящей фантазии — никак не пересекались в реальности, и я был их свидетелем в разные дни, в разных местах. Но все они сошлись в одно и рассказали мне об одном: для того я им и свидетельствовал. История уходит корнями в биологию, а та вырастает из химии, из геоморфологии, из астрономии — и было бы спокойнее об этом не помнить, но не помнить не получается, а тем паче — в шатком панельном мире, на краешке хаоса. Иногда даже можно слышать, как под бетонными плитами ворочается и вздрагивает то, что было до физики и наступит после неё.

На уровне глаз

Я не помню, когда впервые попробовал запечатлеть географию своего мира в поэтическом тексте. По-видимому, ещё в детстве. Разумеется, в ту пору я не мог произнести ничего связного. Сейчас могу хотя бы что-то, но чем больше говорю о своей эпохе, тем отчётливее вижу, что говорю сам с собой: то поколение, которому она станет интересна, ещё не выросло, а моё собственное делает всё, чтобы никогда больше не оборачиваться к местам своего происхождения (некоторые, в порядке исключения, оборачиваются ради плевка). Поэзия выхватывает, как молния, ветвящиеся светонесные жилы и немного черноты окружающих туч; я записываю всё, на что мне достаёт зрения, — просто потому, что не могу поступать иначе, — но порой мне не хватает мотивации, чтобы последовательно и вдумчиво дополнить эти спонтанные озарения и придать им облик законченных полотен. Для этого у меня нет собеседника. Но давайте представим, что какой-нибудь древний ритор дал мне задание раскрыть характер пространства, которому я обязан собой, а я собрался с силами и, не отрывая руки, написал приблизительно следующее:

“Придонный мутный слой, богатый на улов
и всеми презираемый, что может
вполне служить свидетельством его
земной тяжёлой истинности! Стёкла
и чёрная лузга — сияющий доход
полудня и мальчишеского взгляда;
бензин и перегар, пыхтение и пот,
и пыльных крейсеров недвижная армада
на рейде полусна, на траверзе забот.

Где рыжий котлован и ржавый недострой
обозначают всё, что было и что будет
с народом и страной, — где выцветшей травой,
по-южному сухой, покрыты кучи хлама,
какой-то полубог, похожий на Приама,
стоит по вечерам, и если не вино —
то пиво “Амстердам” на землю проливает;

где мокрые ольхи дрожат, изображая
и лес, и палисадник, — в темноте
проходит, волоча разорванную сеть,
какой-то рыбак-утопленник, сошедший
с холста Галлена-Каллелы; при жизни
он больше понимал, чем все твои графья,
в прозрачной красоте. — Поэтому, пожалуй,
и растворился в ней, как в жиже февраль.

Здесь памяти искать — как ветра в чистом поле,
и здесь она во всём. Другой, средневековый,
алхимик — он бы лучше рассказал,

зачем материю и все её основы,
как стражник и портье, невольно предварял
мычащий в подворотне дядя Коля,
уже с утра бухой, — зачем кошачий кал
в песочнице; зачем строительная пена
из каждой щёлки прёт, и лужа по колено
зачем из года в год является бессменно
у входа в магазин, где дребезжащий “ЗИЛ”
с цистерной на прицепе тормозил;

зачем подземный гул и флегетонский запах,
клубящийся вокруг, когда идёт ремонт
на кровле, и в котле передвижном
рабочие, как черти, варят битум;
его смолистый чад пощипывает нос
одновременно с лёгким ароматом
собачьих роз. Я в этой хмари пунцоватой,
как юный Мерлин, рос: торжественно вдыхал
тревожный фимиам, плывущий из-за края
всех знаемых миров, и не осознавал,
чему служу и чем повелеваю.

Мой крохотный квартал был замкнут,
как скалой,
универсамом, чьё нутро вмещало
в своих бесчисленных аппендиксах, свищах,
полупещерах и полуподвалах
химчистку, пункт приёма стеклотары,
и видеосалон, и маленький спортзал,
куда меня в то время не пускали,

и даже казино, — бетонный лабиринт
с гудящей пустотой вместо Минотавра,
но светлой, как июль, и сладостной, как “Фанта”,
немного обжигавшая язык.

От этой-то скалы тянулась череда
зелёных островков, — там куст пузыреплодник
обмахивался, как письмом из преисподней,
своим густым цветением, — туда,
где сходятся проспекты, образуя
мальтийский жирный крест или компас:

на северо-восток — извивы теплотрасс,
Парнас железных Муз, ромашковая тундра,

на юго-запад — парк, туманный исполин
с почти таёжным духом — и грибным,
не то что ведовским, но ведьминским уютом;

налево — останцы реликтового сада,
малинник по плечо, репейники по грудь,

направо — долгий путь: коробки, коробочки
и короба домов; бесплодная река
для нищих пикников, арык для водопоя
вечерним кобальтом налитых облаков;
трущобы гаражей, безлюдные платформы,
несомые на листьях лопуха
над морем мошкары, над комариным зудом, —
и далее, и далее, покуда

хватает силы плыть.

— Как просто здесь пропасть,
забыв о маяках и с картой не сверяясь,
но беспризорный я, пришпорив старый “Аист”,
на зюйд-зюйд-ост держал свой курс
и на норд-вест,
и начал понимать законы этих мест.

Что важно? Сквозь дымком подёрнутые дали,
сквозь аппетитный смрад несвежих беляшей,
блескучее тряпье и радиодетали
просвечивавший план незримых рубежей,
которые мы сами штурмовали
и сами берегли, незнамо от кого, —

по меньшей мере, я, которому случилось
(и можно говорить, что даже повезло)
сюда явиться за два года до
ураново-графитной катастрофы,
подлившей йода в наше молоко,
до Гейзериха за семь, за шестнадцать —
до Каина-царя; в период роковой,
пророческий и крайне бестолковый.

Я помню пяточок с ларьками под окном,
где вспучился асфальт, как если бы его
пробило изнутри стрелой громовой.”

1ЛГ-606-7М

Доморощенный знахарь, которого я в себе воспитал себе же на горе (он один способен навлечь на меня больше косых взглядов, чем все прочие мои ипостаси вместе взятые), убеждён, что бетон — материал благороднейший: чистейшая выжимка стихии земли, эликсир, составленный из её важнейших физических проявлений. С ним почти никто не соглашается; бетон принято презирать (в особо тяжёлых случаях даже по политическим причинам — за “совковость”: то ли дело имперский гранит или хотя бы кирпич, и неважно, что ответил бы на эти выпады Витрувий) — но точно так же презирают и саму почву.

Я примерно представляю себе историю новейшей архитектуры и, в отличие от многих современников, осознаю, что панельное строительство не было напрямую связано с марксизмом (впрочем, слово “марксизм” для меня отнюдь не ругательное). Я видел панельки разных изводов, включая самые что ни на есть капиталистические, да и тот разнузданный карго-капитализм, который воцарился на руинах советского долгостроя, никуда от панелек не делся: они утратили соразмерность человеческому масштабу и обросли фальшивым декором, но сути своей не изменили. Но одна марксистская — и,

шире, общечеловеческая, — добродетель в моих панельках из восьмидесятых всё же была: они учили умеренности. Их клеймят, обзывая трущобами и гетто, — кварталы, повинные лишь в том, что недостаточно блистали, — но их подлинный императив весьма высок и заслужил бы симпатию Эпиктета. Дорогие товарищи, поумерьте запросы — и увидите сияние чистой материи: неважно, будет ли это бревенчатый сруб, железобетонная плита или просто глыба рваного камня.

Мои панельки превратились в гетто тогда, когда дорогие товарищи возомнили себя властелинами хрустальных дворцов. Впрочем, как выяснилось впоследствии, тот вариант гетто, с бандитскими стрелками и стихийными рынками от горизонта до горизонта, был ещё вполне человеческим.

Панельки упрекают в безликости — но, по крайней мере, свою собственную панельку я едва ли не с закрытыми глазами узнаю среди сотни идентичных и не вспомню во всём районе ни одного дома, который не светился бы чем-то личностным и неповторимым. В качестве декора мне достаточно деревьев и всего того, чем украшает дома сама атмосфера планеты. Мне не нужно изысканных обрамлений из башен и шпилей, чтобы любоваться закатом: я учился любоваться закатом на облицовке противоположной девятиэтажки и могу уверенно сказать, что ни развитию моих чувств, ни моей

фантазии это не повредило. Не исключено, что в чём-то даже и помогло. Но этого я не возьмусь утверждать.

И более: история древней архитектуры (которую я знаю гораздо лучше, чем историю новой) вполне ясно свидетельствует о том, что повседневное жилое строительство никогда вычурностью не отличалось — я видел древнеримские сталинки и хрущёвки, я знаю, как была устроена жизнь в заурядном афинском или милетском квартале, я трогал сырцовые стены древневосточных домов — мало чем отличавшихся от панелек современных Каира или Багдада, кроме размеров и коммуникаций. Как прилежный термит, человек трудящийся создаёт себе нехитрые и грубоватые обиталища; хорошо, когда он может и хочет украсить их согласно своей священной картине мира, но когда такой возможности нет (в том числе потому, что сама эта картина расплывчата), отчаиваться не стоит: мир украсит их самостоятельно.

Мозаичную плитку моё время окрашивало в пастельные тона предвечернего неба — бледно-зелёный, светло-жёлтый, выцветший голубой, — и глубокие тона хмурого моря. Приникая к облицованным стенам, деревья разыгрывали свои трагические пантомимы. Моя панелька облицована самой простой и самой универсальной плиткой цвета известняка. Этот изжелта-бежевый цвет — цвет суглинистой почвы, знойного воздуха,

человеческой кожи, тронутой первым загаром, — служит мне тем, чем служили византийским иконописцам золотые сусальные фоны. Мне долго казалось, что он дорог мне благодаря причерноморским степям, где прошла моя молодость, но сейчас с уверенностью говорю: нет, нет. Я полюбил его раньше, — когда мартовское или июльское солнце освещало стену панельки, и от стены отскакивал мой футбольный истрёпанный мяч.

Все стены проницаемы, и нет интерьера, в который не вливались бы потоки окружающего ландшафта. Но железобетонные стены проницаемы в особенности; я бы даже сказал, что для внешнего мира они не более чем марля, которую горожане закрепляют в форточках, спасаясь от комаров. Первым сквозь прозрачные стены входит свет — дождливый, солнечный или туманный; за ним следуют звуки, всегда смягчённые и чуть ностальгические (и есть в пространстве сознания странная точка, откуда даже ор дерущихся алкашей или рык отбойника кажутся ариями из космической оперы или партиями звёздной симфонии; пребывать в этой точке всё время и значит, наверное, достичь просветления, но я от него довольно далёк). Наконец, приходят деревья — даже спиной повернувшись к окну, даже уткнувшись в подушку нельзя не помнить о том, как рябины подносят тебе свои грозовые соцветия или тополь гремит на

ветру изумрудными латами. У меня под кухонным окном растут три берёзы; я помню их крохотными. Под окном моей комнаты — черёмухи и сирень. Я не знаю, как может жить человек, не видя каждое утро этих скромных городских Иггдрасилей.

Настройки оптики

Однажды ночью хлынул дождь и весь следующий день лил, не переставая. Пузырящиеся потоки побежали по асфальтовым скатам Поклонной горы, затопили площадку перед входом в метро, закружили в водовороте помятые клетушки ларьков, лавчонки-стекляшки и кафушки-фургоны. Очертания зданий утратили чёткость, слились с силуэтами деревьев, трамваев и автомобилей; затем утратили чёткость и мы, пешеходы, — как будто некто растушёвывал нас поролоновой губкой. Трудно сказать, шагал я, скользил или плыл, — если следовать логике стихии, то лился, — но каждая капля дождя уносила частицу меня и вмывала в меня частицу пространства. Плывшая или лившаяся навстречу девушка задела меня рукавом своей куртки, и я увидел, как бы издалека, асимметричное пятно, которым мы с нею стали на долю секунды. Потом его размыло водой. Никаких границ между телами больше не оставалось; были только градиенты, только диффузионные слои, и к тому моменту, когда дождь поутих, я уже начал подспудно осознавать, до какой степени я пропитан веществом, с которым соприкасаюсь.

Однажды вечером, в конце октября, со стороны лесопарка потянуло болотными испарениями, по

проспекту пополз волокнистый туман, и на улицы вышли странные существа — медведи в суконных кафтанах, косматые собаки с зеленоватыми огоньками в мокрой шерсти, коренастые гномы, шаркающие по проезжей части долблёнными башмаками, тонкопалые и беловолосые девушки-кикиморы, старички-подосиновики, ходячие коряги с лягушачьими зрачками и совиными крыльями. Их заметили все — и никто не заметил. Пространство словно колыхнулось от их присутствия — но не изменилось, только японский чай в азиатских рестораниках отдавал водорослями сильнее обычного, и домохозяйки с удивлением обнаружили колонии плесени на кафельной плитке, которую за день до того отдраили до алмазного блеска. Что касается меня, то я взял плеер, включил меланхоличный финский неофолк и отправился на прогулку. Натыкаясь на потусторонних соседей, я приветствовал их кивком или неуловимым движением глаз и делал вид, что они — всего лишь обыденная часть пейзажа.

Перед рассветом они ушли восвояси — а может быть, смешались с горожанами. Одна из кикимор всю ночь просидела в пабе, — старейшем пабе района, с видом на пустырь, автостоянку и переулок, ведущий к моргу. Она заказывала немецкое пшеничное пиво, курила ментоловый “Вог” и не отводила водянистых глаз от чёрной мороси за окном; парень, сидевший за соседним столиком, решил завязать с нею флирт — и

очнулся ближе к полудню, в самом безлюдном уголке лесопарка, в камышах на берегу тёмного озера: без портмоне и без мобильного телефона, с разбитым носом и с комком тины во рту.

Однажды утром подуло с залива, нагнало мелких тучек, — июльский пропаренный воздух стал немного зябким, даже знобящим, как бывает после простуды, — прочистило перспективы улиц от слежавшейся пыли, промыло розетки шиповника и без всякого повода устроило нам самый настоящий военно-морской парад. Дома-корабли оторвались от тяжёлых кнехтов гравитации и поплыли, медленно и горделиво, вдоль ромашковых берегов. На стёклах их лоджий, как сигнальные флажки, заиграли тревожные и призывные блики. Прохожие двигались в ритме марша, — даже пенсионерки, возвращавшиеся из универсама или из кулинарии, приосанились и несли свою поклажу с достоинством, как носят именное оружие. С борта невидимого флагмана невидимый адмирал любовался своей флотилией, привычной и к шквалам, и к мёртвому штилю. Клумбы салютовали ему медовыми залпами бархатцев. Здание районной больницы превратилось в величественный авианосец; лиственные волны бились о его мощный корпус, и над взлётной палубой кровли мерещились альбатросы. Я, десяти- или одиннадцатилетний, ещё не знал, что стихия, бушующая вокруг, называется красотой, — и что любая красота, даже скромнейшая, всегда

воинственна и победоносна, — но чувствовал себя юнгой на салинге мира. Ветер то и дело срывал с моей головы алую бейсболку с вышитой надписью “Commander in chief”, намекая, что до этого звания я ещё не дослужился.

Однажды пороги наших квартир замело жёлтым пустынным песком, наши окна оплело повиликой, наши кровати устлало крапивой и чертополохом, и из кранов полилась полюстровская минеральная вода, пахнувшая железом, грозой и слегка — застарелой кровью. Зинаида Васильевна с пятого этажа достала из кладовки пару-тройку эмалированных вёдер, зажгла все конфорки на газовой плите “Лысьва” и принялась варить ядовитые зелья, а дядю Игоря из третьего подъезда утащила в свою воронку личинка муравьиного льва и, видимо, сожрала целиком, — на осыпающемся бортике нашли только хронометр со стальным ремешком да бутылку из-под портвейна “Анапа”. В послеполуденные часы выбирались из укрытий серые смерчи, плясали джигу на тротуарах и хлестали чешуйчатыми вараными хвостами по стёклам витрин. На закате из-за ломаной линии горизонта поднимались гигантские фигуры ифритов, — под их косматыми смоляными бровями пламенели пожары; поутру, захлопывая за собой двери парадных, мы обнаруживали вокруг себя руины, над которыми ещё вился едкий дымок. Так мы прожили целое лето — не помню, девяносто первого или девяносто второго.

Или ещё как-то раз, — был, наверное, май, или самое начало июня, и вверху клубились тёмно-сиреневые тучи, а понизу тучами шла сирень, тоже тёмная и клубящаяся, — где-то в глубине моего двора слышался скрип, как будто отворилась потайная калитка в прогнившем штакетнике, и листва зашелестела под сквозняком, от которого веяло такой нежностью, что я обмер. Негромкая мелодия в ми миноре, ностальгическая и плавная, зазвучала из-под древесных наметов, — словно женщина в белом играла Бетховена на дореволюционном рояле, и её плечи вздрагивали от рыданий, — потом добавились шаги и вздохи, голоса с других берегов: те — ребячьи, те — старческие. Скользнул по асфальту шлейф бесплотного платья, процокала бесплотная трость; воздух посолонел от чьих-то слёз и сразу же пахнул чьим-то сладким парфюмом, — пожалуй, жасминовым. У краешка детской площадки мелькнул силуэт прозрачной девочки с прозрачной же собачкой на поводке. Сны спящих и бессонница бодрствующих миражами поплыли над исчерна-зелёными кудрями берёз.

Я стоял у окна, курил и прихлёбывал чай, в котором предварительно размешал пару ложек смородинового варенья. Монитор компьютера сначала мерцал выжидательно, а затем погас: мне не хотелось ничего писать, и читать не хотелось тем более; я не знал, как себя повести, чтобы этот гипнотический сумеречный ультрамарин,

населённый видениями, подольше не исчезал, а янтарно-опаловая ленинградская заря на этот раз припозднилась. Естественно, я молчал. Но если бы человеческую душу можно было представить как второе тело, если бы у неё были губы, они бы бормотали полурассеянно, полумолитвенно:

— Как ты безгранична, материя. Как ты бездонна.

Тарантелла

Пожалуй, все исторические города — не более и не менее, чем ипостаси одного внеисторического и всечеловеческого Вавилона, — а может быть, Илиона, — единого в тысячах лиц. Каждый город хранит в себе панораму абсолюта — и каждый повествует о каких-то отдельных его свойствах; каждый учит видеть в абсолюте неповторимые частности. Рим приоткрывает перед нашими глазами образ бессмертия, Константинополь — образ величия. Венеция посвящена призрачности, Афины — гармонии противоположностей, о которой писал Гераклит. Из городов, где я жил и работал, мне дороже всего Неаполь: он рассказывает о тайнствах, скрытых в самой грубой физиологии бытия.

Полюбить Неаполь — значит полюбить удушливую гарь тесных кухонь, сальные пятна на фартуках хозяек, облепившую портовые сваи зелёную слизь, комнатки-казематы, где вместе с заплесневелыми простынями киснут в шкафах воспоминания чьей-то юности. Понять Неаполь — значит понять красоту истасканной путаны, доблесть уличного мордобоя, надрыв души, замаскированный смачным плевком. С тех пор, как я понял и полюбил эти вещи, я начал смотреть на панельные районы Питера (или любого другого

российского города) неаполитанскими глазами — и ничего не могу с этим поделать. Мой северный Неаполь пахнет хычинами и шавермой, зарастает цеплючими сорняками; по вечерам его пустоты оглашаются бессвязным матом и псай-трансом из автомобильных аудиосистем.

О том, как выбивается из трещины в асфальте растрёпанный хвост чернобыльника, как в запylённом окне тускло-претускло, но всё же отражается измождённая берёзовая листва, как звонко шлѐпают подошвы кроссовок по ступенькам в подъезде, где прохлада всегда отдаёт извѐсткой, мочой и масляной краской; как расцветают на сетчатке у женщин бледные флоксы; как ветер, просвистывая насквозь хлипкую крепостицу двора, подхватывает прямо с качелей зазевавшегося пацана и несѐт за щетинистые лесные горизонты, в царства неведомые; как фланируют по тротуару старшеклассницы, юные гарпии, — и как тянется за ними запах хищных цветов, — как в магазинчиках, занявших первые этажи панелек, мало-помалу воцаряется сельский уют, и пожилые тѐтушки обмениваются у кассы липкими карамельками мимолѐтного участия, — обо всех этих явлениях нельзя говорить утрамбованным и накатанным литературным языком; им нужен диалект, фактурный и грубый, как зачерствевшая краюха домашнего хлеба. Нельзя рассказывать о них в монотонном прозаическом ритме; им необходима мелодия —

такая же узнаваемая и всемогущая, как тарантелла. Где я только её ни искал — но по сегодняшний день так и не смог найти. Постсоветский человек слишком предвзято относится к среде своего обитания, чтобы заговорить о ней с позиций вдохновения, а не с позиций социального манифеста. Порой мне начинает казаться, что самую страшную цензуру россиянин накладывает на себя сам; принимая вериги общественной морали (будь то улично-воровские “понятия”, патриотическая “идея” или демократическая “этика”), он обрубает всякую связь с пестреющей вокруг него жизнью, и остаток своих дней его мысль проводит в тюремном дворе. Он так упорно выпестовывал в себе ритуальную чистоту, что не заметил, как она превратилась в стерильность; так старательно открещивался от вещей, из которых произошёл, что вместе с ними ампутировал часть своего сознания. Я не знаю, какое карнавальное шествие должно двинуться по его улице, какие фейерверки должны загреметь над его балконом, чтобы он вспомнил себя как часть физического мира и оставил в покое свою начётническую софистику. Но всё-таки мне хотелось бы надеяться, что рано или поздно тарантелла увлечёт его в пляс — и тогда мой Неаполь, прилепившийся к склону символического вулкана (того, который называют отечественной историей), запивающий чебуреки дешёвеньким пивом, надвигающий на брови вязаную шапку с неприличным названием, сможет

крепче держаться за свою самость, меньше стесняться себя и неистовее любить. Всё прочее у него уже есть.

Имир

В других моих записях, применительно к другим материям, я уже говорил то, что сейчас скажу ещё раз: среди риторических фигур не найдётся ни одной декоративной. Все речевые инструменты — прежде всего инструменты познания, и метафора, их царица, — кратчайший путь к сущности вещей. Точнейшие метафоры были нащупаны человеком тысячи лет назад и с тех пор не меняются; как бы ни ухищрялись литераторы, пытаюсь изобрести сравнения погромче, свет останется равнозначным золоту, войны — грозам, государства — кораблям, а пространства — телам великанов. Я пытаюсь представить себе гиганта, из плоти и костей которого кроили мой район, и понимаю, что полностью охватить этот образ не могу — слишком много в расчленённом теле было нервов, сосудов, плёночек и хрящей, — но понимаю и другое: для цельности восприятия он фундаментально важен. Когда я перестаю “пытаться” и отпускаю воображение с привязи, какая-то расплывчатая картина всё-таки вырисовывается.

Его черепная коробка стала выгибающейся навстречу к зениту асфальтовой скорлупой. Его позвонки — казёнными зданиями (мелкие — детскими садами, скрытыми в рябиновых

перелесках, те, что покрупнее — школами, на подступах к которым всегда похрустывает первый осенний морозец, а самые большие, поясничные, — поликлиниками, больничными корпусами, ЗАГСами и собесами). Из его рёбер были сделаны шаткие виадукы, переброшенные через проспекты, — а те, в свою очередь, родились из его магистральных артерий. Его мутная лимфа заполнила строительные котлованы, просочилась в ливнёвую канализацию; по ночам можно слышать, как она плещется в подвалах и подтекает из прохудившихся труб.

Из его брюха появился рынок с обвисшими выцветшими навесами, — там гомонят на клекочущих наречиях смуглолицые люди в резиновых сланцах, грязь под их ногами смешана со щепой от разбитых поддонов и растоптанной овощной гнилью, и я помню те времена, когда каждый мальчишка мог урвать ломоть полузапретного счастья в палатке с аудиокассетами, а взрослые толкались, как караси у кормушки, у прилавков с грудями привозного тряпья. Где-то недалеко, задрапированное фальшивым бархатом и пульсирующее розовым неоном, находится всё, что было вылеплено из его гениталий; я не хотел бы сейчас заглядывать в эти срамные места, но они граничат с другими — с пространствами, возникшими из внутренней поверхности его бёдер и зарослей на его лобке. Это пустыри и клочки уцелевшего леса; первые всегда

похожи на степь, — миниатюры Дикого поля, нарисованные печальной и мудрой рукой, — а вторые пахнут тайгой, лосиной шерстью и отсыревшей хвоей.

Троллейбусы и цепляются рогами за то, что было его нервами; на стройплощадках лязгают осколки его челюстей, а под разлохматившейся обмоткой из минваты ржавеют его артритические суставы. Через вытяжку школьной столовой, от которой несёт прокисшими щами, выходят его кишечные газы. Водомерки чиркают по мелководным прудам его распахнутых глаз, и праздные горожане разжигают мангалы на присыпанных гравием морщинистых веках.

Его мозг — влажная дымка, затягивающая дворы поутру; его жёлчь и слюна — горюче-смазочные материалы; его нервные импульсы стали оранжевым свечением фонарей и жужжанием галогеновых ламп. Молекулы гормонов, растворённых в его крови, сделали пыльными ягодами, усыпающими по осени полосы почвы под окнами брежневок. Его лёгкие превратились в паровые котлы энергоблоков, а трахея и бронхи — в полосатые вертикальные трубы. Зимними вечерами над ними высятся розовато-сизые клубящиеся столпы. Его ногтевые пластины пошли на остекление торговых центров, губчатое вещество его костей — на наши пористые многоквартирные жилища.

Он растерзан — но при этом не мёртв; он убит — и это сделало его живым окончательно. По сравнению с богами он демон, но по сравнению с людьми — пожалуй, всё-таки бог. У него есть своя религия, но теоретических знаний она требует немного: во всяком случае, её не нужно штудировать по священным книгам. Её нужно практиковать, упорно и ежечасно, и для этого достаточно находиться внутри его тела: исправно протаптывать тропинки через его газоны, прилежно поскользываться на его гололёде, благочестиво скучать в его очередях.

Из сердца титана возникла станция метро, а из его аорты — эскалатор, выталкивающий нас во время, словно эритроциты.

Записка в бутылке

Когда я начинал писать эти заметки, мир колебался между оцепенением и штормом; когда я дошёл в них до середины, грянул шторм оцепенения — или оцепенелый, застойный шторм.

Как и у любого писателя, у меня было два пути: уподобиться флюгеру, вертящемуся как прикажет гнилой ветер эпохи — или паруснику, идущему к своей цели в крутой бейдевинд. Я выбрал второе; с суши может казаться, что мой корабль теряет ход, но пристало ли сейчас оглядываться на сушу? Его лавировку могут даже назвать конформизмом. Кто не стоял за штурвалом — не знает, сколько сопротивления в таких манёврах.

Говорить о России сейчас можно только с ультрапатриотических или с ненавистнических позиций. Я не решил для себя, в чём больше нечестия — но ни того, ни другого эпоха от меня не дождётся. Приспешники самых разных идеологий слишком долго пытались в пух и прах рассорить меня с родиной, чтобы я вновь попался на их уловки. Любая человеческая идея — не более чем иллюзия. Пока её носитель не утратил чувства меры, она безвредна и упоительна — полусновидение, полутрип, — но если позволить ей разрастись, она сделается опасной, как мания

величия, и иссушающей, как паранойя. Единственное лекарство, способное исцелить от безумных фантазий, — осязаемый, постигаемый эмпирически, твёрдый и зыбкий, цветущий и ветшающий мир.

Осязаемая родина, о которой я говорю и намерен говорить дальше, пока не почувствую, что достойно почтил её материнство, — асфальтовая и железобетонная, кирпичная и травяная, — может казаться кровным детищем политических и философских идей. Отчасти это действительно так. Набегающие волны иллюзий шлифуют её и подтачивают, правят и уродуют очертания её берегов. Но быстрее, чем общество успевает отразить собственную историю, материя вынуждает её подчиниться своим гармоническим законам. Вещи, здания, целые ландшафты, порождённые человеческим бредом, удаляются от первоначального контекста и встраиваются в текучую вязь естественного хода событий. Пустыням Обводного канала дела нет до соображений государя Александра Павловича. Сталинские кварталы Автово или Удельной немного помнят о приказах вождя. Призракам и теням, населяющим их закутки, безразличны гербовые бумаги. Пока общество строит планы и разрабатывает теории, жизнь — величайший импровизатор — создаёт из подручных материалов легенды, и одно-единственное цветное пятно, какой-нибудь женский халат, мелькнувший на

балконе хрущёвки и скрывшийся в синеватом гроте квартиры, может поведать о сердце родины больше, чем километровые исследования культурологов и обществоведов.

Если я прав в своей интуиции, если одна из моих главных экзистенциальных задач — услышать и пересказать панельный миф, то нет никакой беды в том, что в него мало кто хочет поверить. Новорождённые мифы всегда вызывают у общества что-то наподобие анафилактического шока. Египтянин смотрел на эллина с нескрываемым подозрением; эллин видел в римлянине зарвавшегося дикаря; римский солдат презирал христианина; христианин ненавидел и боялся социалиста; партийный деятель считал выродком какого-нибудь патлатого мальчишку в кожаной куртке; когда-нибудь, где-нибудь, за пределами нашего туннельного зрения, история сложится в огромный, всеобъемлющий эпос, подобный метопам Парфенона, и примирит их всех — беспощадно, как смерть, и нежно, как жизнь. А пока что я, плохой летописец и нерадивый сказитель, наблюдаю, как мои современники честят последними словами девятиэтажные святилища моего детства — и на своём языке говорю о них, что могу.

На уровне кровель

Невнятная страна, застроенная сплошь
громадами — и оттого пустая!
Как горько ты горишь, как странно ты цветёшь,
вселяя память в нас и память обрывая,
с её плодами вместе, на корню,
дымящая, как ТЭЦ, ползущая к нулю,
не то чтобы Союз, не то чтобы Россия —
невнятная страна! Я видывал другие,
я даже их любил — но всё же говорю:
куда им до твоей бушующей стихии.

И снова говорю: могучая страна
шатающихся плит! Сколь многое она
давала и даёт, — едва ли не любезно, —
какому-нибудь мне, родившемуся в бездну
меж тем, чем грезил мир, и тем, что воплощал:
пусть даже этот взмах зелёного плаща —
безоблачных берёз и пасмурной крапивы, —
фонтан, что пересох, и грунт, что отощал
под тысячами ног, спешащих терпеливо
то из дому к метро, то от метро домой
сквозь тюлеву ткань водицы дождевой.

Химерный континент, скопированный сотни
и миллионы раз, — плыви себе, плыви,
швартайся, опускай заржавленные сходни:
ты камня тяжелей и призрака бесплотней,
тем более — во тьме, ласкающей твои
бетонные гряды с железными плечами,
где сонмы огоньков роятся, источая
медвяную мерцающую падь,
где оттепель кропит серебряным и чёрным,
где девушка в ларьке, похожая на Норну,
где женщина в окне, похожая на мать.

Непрочен матерьял, но времени без боя
сдаваться не привык. Когда настанет час,
с землёй бульдозера́ сравняют нашу Трою,
но я — почти Эней: я новую построю
вдали от пришлых снов, вдали от праздных глаз,
за низеньким плетнём, у века на задворках;
я дряхлого отца не вынес на закорках
из мертвенного пламени, но спас
хотя бы ветерок, который порскал
на серых пустырях, боярышника горстку,
рябиновый пруток, которым жизнь подхлёстыг-
которым наша жизнь подхлёстывает нас.